



КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ И ОБЗОРЫ

А. А. Леонтьев

О НАЧАЛЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ИСТОРИИ

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД КНИГОЙ Б. Ф. ПОРШНЕВА¹

Приступая к написанию рецензии на эту книгу, жалеешь прежде всего о том, что все соображения, в ней излагаемые, уже нельзя высказать самому Борису Федоровичу Поршневу и как следует поспорить с ним. Легко полемизировать с человеком, который не может тебе возразить. Впрочем, и при жизни Бориса Федоровича, особенно во время его выступлений в Институте языкознания АН СССР, мы с ним неоднократно обсуждали его взгляды, — но тогда они еще не складывались для нас, его слушателей и читателей, в единое логическое целое, и сильные и слабые стороны этого целого не были доступны обозрению и анализу.

Большинство из нас, ученых 70-х годов, — люди относительно молодые. Каждая книга или статья для людей нашего поколения — еще один шаг в избранном нами направлении, а за этим шагом открывается очередная перспектива. Честно говоря, мы не умеем (да и не видим в этом необходимости) «выкладывать» в своих работах полностью, до конца — все время кажется, что это сделать мы еще успеем.

Когда читаешь книгу Б. Ф. Поршнева, невозможно отделаться от мысли: автор предчувствовал, что книга эта будет для него последней (он прямо пишет об этом на стр. 13), и спешил высказать в ней все самое сокровенное, стремился четко обрисовать перед читателем всю логику своей научной мысли. Отсюда и достоинства книги, и ее недостатки. В маленькой заметке «От издательства» отмечается, что «по ряду вопросов в книге излагаются взгляды, не являющиеся общепринятыми в науке». Эта привычная формула плохо применима к работе Б. Ф. Поршнева: ее сила, то, что выделяет ее из множества современных работ по антропогенезу, — как раз в том, что она не содержит в себе «взгляды» автора по «ряду вопросов». Ее пронизывает единый взгляд, единая концепция, основательно философски аргументированная, фундированная фактическим материалом из самых различных областей знания. «Необщепринятость» некоторых ее положений возникает, прежде всего, за счет внутренней логики авторского рассуждения, приводящей автора к той, а не иной позиции как бы помимо его собственного желания. Но в некоторых местах логика автора небезупречна, о чем мы скажем в дальнейшем.

¹ Б. Ф. Поршнев, О начале человеческой истории, М., 1974, 487 стр.

Попытаемся проследить эту логику. Естественно, нам придется опустить отдельные логические звенья и их подробную аргументацию, оставившись лишь, так сказать, на поворотных, принципиально важных положениях книги Б. Ф. Поршнева.

С самого начала автор выделяет три концепции становления человека. Первая, наиболее распространенная: специфическая, качественно новая ступень антропогенеза началась 1,5—2 млн. лет назад своеобразным «скачком», т. е. первобытный человек докроманьонского периода — с самого начала человек. Вторая (ее разделяет сам автор): история человечества имеет за собой 20—45 тыс. лет, т. е. предковые формы — еще не люди. Тысячелетия, лежащие между австралопитековыми² и поздними палеоантропами, «могут быть полностью интерпретированы в понятиях естествознания» (стр. 14). Третья — теория двух качественных скачков (Я. Я. Рогинский). Есть и четвертая, приписывающая антропоидам ряд собственно человеческих признаков, хотя и в зачаточном состоянии: вместе с Б. Ф. Поршневым мы не считаем возможным принимать ее как рабочую гипотезу.

Какой путь избрать? Ясно, что не тот, на котором мы ограничиваемся тем, что проецируем на первобытного человека нашу «модель» современного человека. К сожалению, Б. Ф. Поршневу прав в том, что делаем мы это слишком часто, особенно рассуждая о мышлении и сознании первобытного человека. Отсюда «преднамеренное обозначение действий и предметов» (А. Г. Спиркин), «понятия» (В. В. Бунак), питекантроп, мыслящий логично (В. Ф. Зыбковец) и т. п. Здесь имеет место принципиальный антиисторизм во всем, что не касается развития материальной культуры и морфологической эволюции человека. Б. Ф. Поршневу правильно критикует психологов и социологов за то, что они не выходят в своих рассуждениях об антропогенезе за пределы общераспространенных суждений антропологов и археологов, а эти последние не имеют сколько-нибудь профессионального суждения по принципиальным вопросам психологии, социологии и даже философии.

Кроме того, часто говорят об абстрактном «человеке», сопоставляя его с неким абстрактным «животным». Но в природе нет такого абстрактного «животного», аккумулирующего в себе «античеловеческие» признаки, равно как нет человека вне конкретного общества, класса, культуры.

Итак, мы вслед за автором выбрали путь последовательного историзма. «Это понимание истории заключается в том, чтобы, исходя именно из материального производства непосредственной жизни, рассмотреть действительный процесс производства и понять связанную с данным способом производства и порожденную им форму общения»³. Добавим, опираясь на всю логику Маркса и Энгельса в «Немецкой идеологии», — и порождаемую данным способом производства форму сознания.

Если так, каково отношение между историей и биологией, спрашивает автор. Что такое история с точки зрения биологии? Ответ: «общественная история есть такое состояние, при котором прекращается и не действует закон естественного отбора. У человека процесс морфогенеза со времени оформления *Homo sapiens* в общем прекратился» (стр. 38). Это бесспорно. Но думается, что, признав это, автор не имеет оснований отказываться от «третьей» концепции: она логично развивает именно такое понимание антропогенеза.

² Ввиду неясности в трактовке основных ступеней антропогенеза, возникшей после открытий Л. Лики и до сих пор не преодоленной, мы условно придерживаемся здесь «классической» схемы: «австралопитековые — питекантропы — неандерталец — неантроп», ясно сознавая необходимость ее пересмотра.

³ Новая публикация первой главы «Немецкой идеологии» К. Маркса и Ф. Энгельса, «Вопросы философии», 1965, № 10, стр. 100.

Б. Ф. Поршнев закономерно отказывается от того способа рассуждения, при котором мы приписываем археоантропу нечто, «с самого начала» отличавшее человека от других животных и оставшееся тождественным самому себе (хотя и претерпевавшее развитие) в течение всей человеческой истории. «Возник» труд. «Возникло» общество. «Возникло» понятийное мышление. «Возникла» членораздельная речь. С момента этого «возникновения» мы ведем начало истории.

Возможен другой ход рассуждения, диалектический: искать начало истории в динамике, в переломе процесса развития. «Тогда началом истории во внутреннем смысле мы будем считать момент, с которого человеческая история стала двигаться быстрее истории окружающей природной среды (как и быстрее телесных изменений в самих людях)» (стр. 39).

Если рассуждать первым путем, мы допускаем логическую ошибку. «...постоянный атрибут человека и начало истории выводятся друг из друга. Почему, почему, почему, вопиет наука, человек научился мыслить, или изготавливать орудия, или трудиться?» (стр. 43). Хуже всего, что в качестве такого атрибута особенно часто выступает мысль, абстрактное мышление. Это подход, в корне противоречащий духу трудовой теории Энгельса.

Итак, бездонная пропасть, скачок, возникновение «на голом месте» *differentia specifica* человека. Есть альтернатива: непрерывный плавный переход, «усилия закидать пропасть между человеком и животным до краев: человеческую сторону — сравнениями с животными, но в гораздо большей степени животную сторону — антропоморфизмами. Такой эволюционизм не столько ставит проблему перехода от животного к человеку, сколько тщится показать, что никакой особенной проблемы-то и нет; не указывает задачу, а снимает задачу; успокаивает совесть науки, словесно освобождая ее от долга» (стр. 51).

Конечно же, Б. Ф. Поршнев совершенно прав: идея искать «однозначный отличительный атрибут человека на всем протяжении его истории» ошибочна. Ей автор противопоставляет следующую модель: последовательная смена процесса возникновения «в нейрофизиологии предков людей механизма, прямо противоположного нейрофизиологической функции животных», а затем — «снова переход в противоположность» (стр. 53—54). Этот «метод контраста» (почему не сказать — метод диалектики?) позволяет, по мнению автора, вскрыть структуру исторического процесса гораздо более убедительно, чем «методом атрибута». Кстати, в этом месте автор хвалит Н. Я. Марра и ругает его оппонентов: они-де не понимали, что «у Марра речь шла о масштабах и дистанциях совершенно иных, чем у лингвистики в собственном смысле слова, охватывающей процессы в общем не длительнее чем в сотни лет. Так точно классическая механика макромира пыталась бы опорочить не согласующуюся с ней физику мегамира или микромира» (стр. 55).

Неверно! Не говоря уже о том, что «классическая» лингвистика оперирует периодами не в сотни, а в тысячи лет (что существенно меняет дело), полемика против Марра коренилась совсем не в «ньютоновской» ориентации лингвистов. Правильно ставя общеметодологические вопросы развития языка, его связи с развитием общественного производства, сознания, мышления, материальной и духовной культуры, Н. Я. Марр предлагал совершенно произвольные конкретные решения этих вопросов. Не его оппоненты, а сам Марр искусственно связывал «современную» лингвистику с первобытной, искал в первобытности прямые корни современного языка — и находил то, что хотел найти, хотя не давал никаких убедительных доказательств, что дело было именно так, а не иначе.

Работая «методом контраста», мы, по Б. Ф. Поршневу, наталкиваемся на две основные трудности. Первая: обманчивая доказательность этнографических параллелей. Автор совершенно прав, когда сетует на

излишнюю «наглядность образов» в современной этнографии и указывает на недопустимость апелляции к этнографическим аналогиям без предварительной «внутренней реконструкции» самого этнографического материала. Не зная, что на самом деле архаично в языке, культуре, социальной и социально-психологической жизни якобы первобытных народов, мы то и дело привлекаем современный материал по принципу внешнего параллелизма, забывая, что любое самое «дикое» племя — «не обломок доистории, а продукт истории» (стр. 56). Автор не приводит примеров, но их легко найти. Так, явное недоразумение — идея найти «первобытную лингвистическую непрерывность» в современной Новой Гвинее⁴.

Вторая трудность: отсутствие адекватных терминов и необходимость применять к доистории термины, адекватные совершенно иной исторической ступени.

Возвращаясь к основному ходу своей мысли, автор еще раз подчеркивает, что переход от животного к человеку — не «нарастание человеческого в обезьяньем» (откуда взялось это «человеческое?»), а «отрицание зоологического, все более в свою очередь отрицаемое человеком» (стр. 59). Нельзя с этим не согласиться. Но где же противоречие с «третьей» концепцией (Я. Я. Рогинский)? Напомним, что, по Рогинскому, первый «скачок» соответствует «первому появлению социальных закономерностей», а второй — полному отказу от закономерностей биологических. Отрицание зоологического имеет социальную природу, а эта социальность, еще связанная с биологией, в свою очередь отрицается новым качеством, связанным с появлением общества, сознания, сознательного труда. Не «тезис — антитезис — антитезис», как получается у Б. Ф. Поршнева, а «тезис — антитезис — синтезис».

Далее автор анализирует проблему обезьяночеловека. Он метко замечает, что она в конце концов свелась к все той же пропасти между обезьяной и человеком. Здесь Б. Ф. Поршнев высказывает ряд соображений о систематике троглодитов: думается, он прав, когда требует отказаться от апелляции к наличию или отсутствию орудий как противоречащей принципам морфологической систематики⁵, но зато призывает учесть экологические критерии, так или иначе учитываемые при систематике других зоологических видов. Автор предлагает концепцию о ранних троглодитах как «трупоядных» животных, занявших пустовавшую (практически) экологическую нишу.

В этом месте концепция Б. Ф. Поршнева, видимо, едва ли будет приемлема для палеоантропологов и археологов. Она противоречит привычному представлению о первобытном охотничьем коллективе, в котором из совместного труда рождается членораздельная речь и сознание. Но так ли она противоречит археологическим данным? Факт остается фактом: первобытные орудия возникают как орудия для разделки туши, и нет никаких доказательств их первоначального использования в какой-то иной функции. Вообще нет прямых доказательств коллективной охотничьей деятельности ранних археоантропов.

Так или иначе, гипотезу Б. Ф. Поршнева едва ли можно «с порога» отбросить, тем более, что она позволяет объяснить прямохождение как следствие появления у верхних конечностей функции ношения.

Но самое главное, на что указывает Б. Ф. Поршнев, — проблема человека нуждается в анализе со стороны психологии деятельности, вклю-

⁴ Нам уже приходилось подробно анализировать этот вопрос. См.: А. А. Леонтьев, Папуасские языки, М., 1974, стр. 29 и др. Однако сама идея, принадлежащая С. П. Толстову, весьма вероятна. Ср. А. А. Леонтьев, Возникновение и первоначальное развитие языка, М., 1963, стр. 91—94.

⁵ Так думает и В. П. Алексеев. См.: В. П. Алексеев, Антропологические аспекты проблемы происхождения и становления человеческого общества, сб. «Проблемы этнографии и антропологии в свете научного наследия Ф. Энгельса», М., 1972, стр. 77—78.

чая собственно деятельность (трудовую в первую очередь), мышление и общение. Особенное внимание автор уделяет общению, подчеркивая его значение для проблемы возникновения *Homo sapiens*.

Само по себе обращение к генезису общения плодотворно⁶, но то, как аргументирует свою позицию в этом вопросе Б. Ф. Поршнев, не может не вызвать возражений, ибо здесь в его логике есть серьезные просчеты. Во-первых, он неправомерно отождествляет общение и речь. Между тем, несомненно, прав К. Маркс, когда он настаивает на первичности материального общения, «вплетенного» в практическую деятельность (в современной марксистской литературе этот вопрос анализировал чехословацкий психолог Я. Яноушек). Из того, что членораздельная речь появляется лишь у *Homo sapiens*, совершенно не следует, что общение не было возможно на базе других средств. Здесь Б. Ф. Поршнев, как ни странно, совершает ту же ошибку, против которой он выступал выше — а именно, переносит в доисторическое прошлое данные современности метод «атрибута»⁷.

Во-вторых, автор делает еще одно распространенное, но неправомерное отождествление: «второй сигнальной системы, т. е. речи». Никто не сомневается в важности понятия второй сигнальной системы, но это не синоним речи, а одна из физиологических предпосылок речи.

В-третьих, Б. Ф. Поршнев явно переоценивает роль общения (речи), когда он утверждает, что опосредствованность обществом отношения человека к природе, социальная природа практической деятельности человека «осуществляется через речь» (стр. 115). Мы не имеем возможности подробно анализировать этот ошибочный тезис; отошлем читателя к известной книге А. Н. Леонтьева⁸, где предложена альтернативная, на наш взгляд, более убедительная концепция.

Анализируя психологическую структуру трудовой деятельности, Б. Ф. Поршнев совершенно правильно говорит о сознательной цели как особенности человеческого труда. Только едва ли можно согласиться с автором, когда он безоговорочно утверждает, что «...сознательная цель есть интериоризованная форма побудительного речевого общения, команды, инструкции» (стр. 120). Это так, но у современного человека. Видимо, в филогенезе все было значительно сложнее⁹.

В дальнейшем автор развивает эту мысль более детально. Он начинает с анализа соотношения человеческого языка и коммуникации животных. Здесь, наряду с абсолютно правильными тезисами, есть целый ряд неточностей. Основной тезис: человеческий язык не имеет ничего общего с животной сигнализацией. Думается, этот тезис совершенно правилен, как и критика попыток семиотиков увидеть системность в сигналах животных (стр. 135).

Далее Б. Ф. Поршнев переходит к психологическому анализу процесса интериоризации и роли общения в формировании высших психических функций. Здесь, однако, возникают неточности. То, что говорится о внутренней речи, приблизительно и нерасчленено. Из тезиса А. Н. Леонтьева, что язык есть необходимое условие и субстрат сознания, автор делает вывод: «Но это означает, что вообще психика человека базируется на его речевой функции. Сознательные (произвольные) действия, избирательное запоминание, произвольное внимание, выбор, воля — психические явления, все более поддающиеся научному анализу, если речевое общение людей берется как его исходный

⁶ Нам уже приходилось — независимо от Б. Ф. Поршнева — анализировать генезис общения: А. А. Леонтьев, Проблема глоттогенеза в современной науке, «Энгельс и языкознание», М., 1972; его же, Психология общения, Тарту, 1974.

⁷ Кстати, те лингвистические работы, на которые ссылается в этой части Б. Ф. Поршнев, весьма уязвимы по методу и выводам (например, работы Я. Ван Гиннекена).

⁸ А. Н. Леонтьев, Проблемы развития психики, изд. 3, М., 1972.

⁹ См.: А. А. Леонтьев, Возникновение и первоначальное развитие языка.

пункт» (стр. 150). Таким образом, язык, «речевая функция», речевое общение — все отождествляется¹⁰. Но в том-то и особенность языка, что он есть единство общения и обобщения (Л. С. Выготский), что он постольку может (у человека) использоваться в коммуникативной функции, поскольку используется в функции познавательной — и наоборот. Язык, языковый знак как бы «поворачивается» разными сторонами в зависимости от задачи деятельности, от проблемной ситуации. Поэтому бессмысленна альтернатива (стр. 151): речь ли — орудие мышления или мышление — плод речи? Ни то, ни другое, — или, если угодно, и то, и другое.

Итоговое положение: «В психике человека нет ни одного уголка и в низших, как и в высших, этажах, который не был бы пронизан воздействием его общения с другими людьми. А канал этого общения... — речевая связь» (стр. 156). Так и не так! Вернее, так — но с оговорками, снимающими абсолютность тезиса, столь важную для автора.

Далее Б. Ф. Поршнев сопоставляет труд и деятельность и отмечает, что формула «в начале было дело», представляющаяся многим подлинно материалистической, может быть совершенно неверной, если мы берем за исходный пункт деятельность изолированного индивида. Здесь автор берет себе в союзники психолога К. А. Абульханову-Славскую¹¹. Он обильно цитирует ее статью, где, в частности, утверждается: неверна иллюзия, что «и отношение к миру, и отношение к общественному богатству и т. д. могут осуществляться изолированным индивидом». По мнению К. А. Абульхановой-Славской неправильно, что «общественная сущность психического» «оказывается внутренне присущей отдельному индивиду». И дальше: «Психическая деятельность по самому смыслу своей основной функции является деятельностью, включающей индивида в общество..., обеспечивающей общение с другими людьми... Если с самого начала не признать за психическим общественной функции коммуникации, общения, отношения и т. д., то станет практически невозможным понимание того, каким образом общественные отношения, не зависящие от индивидов, существующие вне их, приводят их в действие как реальные живые существа». И так далее.

Увы, Б. Ф. Поршнев выбрал себе не самого подходящего союзника. Не анализируя реальных психологических механизмов перехода «социального» в «психическое», К. А. Абульханова-Славская избирает самый простой путь решения вопроса: она просто-напросто отказывает отдельному человеку в социальности психики и хочет видеть социальность лишь там, где есть непосредственное социальное взаимодействие. Критикуя психологов за то, что они ищут общественную природу индивида «в нем самом», К. А. Абульханова-Славская (а за ней и Б. Ф. Поршнев) пытается по существу выбросить за пределы психологии «мелочь» — человеческую личность. При этом она вольно или невольно допускает прямые неточности, смешивая отдельного индивида и изолированного индивида, считая, что общественные отношения не только «не зависят» от индивидов (что глубоко верно), но и «существуют вне их» (где?). Одним словом, возникает явный крен в сторону социологизма, и не случайно, что, по словам Б. Ф. Поршнева, в статье К. А. Абульхановой-Славской «...почти нет конструктивной, позитивной стороны: кроме ко многому обязывающих слов..., мы так и не получаем их научно-психологической расшифровки» (стр. 168).

Самое странное — что сам Б. Ф. Поршнев довольно далек от та-

¹⁰ Не говоря уже о том, что произвольные действия приравниваются к сознательным, а человеческая память сводится к избирательности запоминания — и то и другое ошибочно.

¹¹ К. А. Абульханова-Славская, К проблеме социальной обусловленности психического, «Вопросы философии», 1970, № 6.

кого упрощенного понимания соотношения социального и индивидуального, оно совсем не является обязательной предпосылкой его выводов, в целом совершенно правильных. Конечно, он прав, говоря, что проблему выделения человека из животного мира нельзя «свести к элементарной механике», и «речь и труд человека не могли бы возникнуть на базе мозга обезьяны, даже антропоморфной» (стр. 179). Верна критика им психологического сенсуализма и указание на роль языка в человеческом чувственном познании. Можно принять и его известный тезис о суггестии и контрсуггестии и в связи с ним — критику семиотики (точнее, прагматики) за «безмозглость». Рецензент с удовольствием принимает и положение о том, что «...суггестия есть побуждение к реакции, противоречащей, противоположной рефлекторному поведению отдельного организма» (стр. 199). Так и ждешь вывода: эта «противоположность» — в возникновении нового качества, социальности — не в смысле внешне-социальных взаимоотношений, а в смысле проникновения социальных, групповых интересов, мотивов, целей в деятельность отдельного индивида и их принятия как «своих», внутренних. Перевертываем страницу — этого вывода нет, и начинается новая глава — о тормозной доминанте.

Не будучи физиологом, рецензент не компетентен судить о материале этой главы, хотя основное для нее положение об обязательной корреляции доминантного возбуждения и торможения выглядит убедительным. Возражения начинаются там, где речь идет о «неадекватных рефлексах» как субстрате «человеческого» в человеке (это, в сущности, уже переход к очередной главе — об имитации и интердикции). Мысль Б. Ф. Поршнева в том, что первобытному человеку была в высшей степени свойственна автоматическая имитативность, особенно в сфере неадекватных рефлексов. Эта-то имитация, «нерациональная» для организма (интердикция), и лежит в фундаменте человеческой речи. Но тогда почему смогли выжить популяции троглодитов, которые вместо осмысленной деятельности занимались имитацией чужих-то бессмысленных жестов? Потому, отвечает автор, что популяции постоянно «тасуются», индивиды переходят из одной популяции в другую. Этим Б. Ф. Поршнев объясняет некоторые закономерности эволюции первобытной техники, в частности отсутствие четкой корреляции между техникой и типом человека и плавность развития техники на фоне явных «скачков» в антропологии.

Рецензенту неоднократно приходилось выступать в печати против распространенной «теории жизненных шумов», как основы для развития языка. Теория Б. Ф. Поршнева — генерализованный вариант этой последней, и по тем же соображениям, что «теорию жизненных шумов», ее едва ли можно принять. Действительно: с одной стороны, мы как будто договорились, что то принципиально новое, что появляется в первобытном стаде — это то, что противоречит жизненным интересам отдельного индивида. С другой стороны, мы знаем, что это новое — социальные интересы, необходимость подчинить индивидуальное социальному, прежде всего в сфере практической деятельности. Логично было бы искать генезис общения именно в том, что наиболее тесно связано с социальной практикой. Вместо этого автор делает шаг в сторону, выдвигает тезис об имитативности в нетрудовой сфере и, чтобы не прийти к абсурдным выводам, выдвигает совершенно необоснованную гипотезу «перетасовки». Вместо раскрытия механизмов проникновения социального в индивидуальное поведение автор рисует картину жизни троглодитов: «Какой-то главарь, пытающийся дать команду, вдруг принужден прервать ее: члены стада срывают этот акт тем, что в решающий момент дистантно вызывают у него, скажем, почесывание в затылке, или зевание, или засыпание, или еще какую-либо реакцию, которую в нем неодолимо провоцирует... закон имитации» (стр. 350).

Итак, мы получили первобытное стадо, в котором нет никакой совместной деятельности, требующей согласования действий: вместо первобытного коллектива — неустойчивую популяцию. Общество появляется в книге только в седьмой главе и только в роли передатчика индивиду «заказа или приказа» и источника «целеполагания». Вот для чего автору нужен был союз с К. А. Абульхановой-Славской! Не слишком ли большая плата за стройность концепции — отказ от самой идеи общественного труда на промежуточном этапе между австралопитеками и *Homo sapiens*? Вместо того, чтобы вскрыть, как мог сформироваться общественный труд, мы просто-напросто его выкидываем за борт, подменив «сознательным трудом». Дело в том, что с самого начала мы приняли вслед за автором, что в триаде «деятельность — общение — сознание» первично (исторически) общение. Это, видимо, и есть основной логический просчет Б. Ф. Поршнева, коренящийся в смешении языка и общения и следующем из него тезисе об универсальной значимости общения для психики. Обратись мы к идее материального общения — и логика автора была бы нарушена. Но это допущение требует исторической первичности коллективной трудовой деятельности, причем не в чисто инстинктивной (хотя, конечно, и не сознательной) форме, а в какой-то иной, специфичной.

Говоря далее о том, что невнушаемость — это ненормальность, Б. Ф. Поршнев продолжает: «Негативный признак всех психических патологий: они воспроизводят эволюционную стадию невнушаемости, т. е. не контрсуггестивность, а досуггестивность» (стр. 365). Иными словами, патология есть отражение реликтовых особенностей поведения троглодитов. Одиннадцатью страницами выше автор призывал: «Только не упрощать!» (стр. 354). Здесь он сам впадает в тот же грех. То, что называется патологией, объединяет в себе явления принципиально различные по генезису и симптоматике. Если и можно увидеть в них что-то феноменологически общее, то никаких далеко идущих выводов сделать на этом основании невозможно уже потому, что природа «неконтактности» и «невнушаемости» здесь коренится в противоположных синдромах и объясняется совершенно различно.

По ходу рассуждения Б. Ф. Поршнев касается того, что мышление не является полезным признаком человека, «делает его беспомощнее по сравнению с животным» (стр. 367). Как оно могло в таком случае сохраниться и закрепиться? «Возможно лишь одно объяснение: значит, оно сначала было полезно не данному организму, а другому, не данному виду (подвиду, разновидности), а другому» (стр. 367).

Нелогичность заключена уже в исходном допущении. Если мышление делает одного, отдельно взятого человека беспомощнее по сравнению с животным, то это еще не основание для вымирания в процессе естественного отбора — при одном условии: что оно с самого начала связано с прекращением, хотя бы частичным, действия чисто биологических закономерностей и появлением общества. Точка зрения Я. Я. Рогинского снимает исходный тезис. Но и дальше возможно другое объяснение, — что данное свойство было полезно данному виду в целом.

Переходя к анализу труда, Б. Ф. Поршнев отстаивает существование инстинктивного труда, и в этом он, несомненно, прав. Прав он и в целом ряде высказываний, связанных с генезисом труда — но эти его тезисы, убедительно доказывающие методологическую правильность точки зрения автора, не способны подтвердить его конкретные выводы, основанные на этой точке зрения.

Но один вывод логичен и несомненен: что прежде чем у речи появилась языковая функция, у нее была функция регуляции поведения. Опять-таки напрашивается другой вывод — что это была регуляция коллективного, социального поведения. Но Б. Ф. Поршнев этого

допустить не хочет (кстати, его рассуждение о природе афазии на стр. 411—412 не соответствует действительности, ибо не учитывает системного принципа локализации функций в коре). Его позиция такова: вторая сигнальная система — «объективный механизм межиндивидуального воздействия на поведение» (стр. 413). Опять-таки межиндивидуального, а не социального. Это еще более четко подчеркнуто на стр. 417 при «защите» Леви-Брюля: «отношение организма к организму».

Чтобы связать концы с концами и объяснить, каким образом человек «вдруг» заговорил, Б. Ф. Поршнев привлекает в этой главе огромный материал по морфологии коры, афазииологии, лингвистике. К сожалению, этот материал в значительной своей части неубедителен. Еще менее убедителен тезис о том, что вещи, ранее использовавшиеся в «первосигнальной жизни», приобрели знаковую, «второсигнальную функцию» и «втягивались в функционирование второй сигнальной системы сначала в качестве вспомогательных средств межиндивидуального суггестивного аппарата общения» (стр. 455). Дальнейший шаг — утверждение о том, что собственность предшествует деятельности — не выдерживает никакой критики.

Итак, основной просчет автора — в тезисе о первичности общения и в «потере» социальности, в излишней биологизации первобытного человека и первобытного стада, а отсюда — в биологизации и самого общения.

* * *

Рецензенту приходилось много встречаться с Б. Ф. Поршневым, и надо сказать, что то самое замечательное, что есть в его книге — убежденность ученого-материалиста, широкая философская и конкретно-научная эрудиция, умение логически связать порой не бросающиеся в глаза своей связанностью факты и положения и подвести под эти факты принципиальную новую концептуальную основу, — все это ярко проявлялось и в личных беседах с ним. Пусть где-то увлеченность Б. Ф. Поршнева переходила в односторонность и безосновательное неприятие противоположных взглядов, а эрудиция подводила его — в конечном счете даже такой уникальный «комплексный» специалист, как Б. Ф. Поршнев, не мог одинаково хорошо разбираться в «кухне» всех тех наук, которыми ему приходилось заниматься, и вынужден был принимать на веру принятые и распространенные в данной науке мнения, хотя с сугубо профессиональной точки зрения они порой и не могут считаться убедительными. Но не в этом главное.

Книгу Б. Ф. Поршнева можно оценивать с разных позиций. Можно критиковать ее за то, что автор отходит от мнений и убеждений, прочно закрепившихся в науках о первобытном человеке. Едва ли такая критика будет оправданной, потому что наряду с бесспорными среди этих мнений — как и в любой науке — есть традиционные, держащиеся не потому, что они верны, а потому, что привычны. И, думается, основное значение книги Б. Ф. Поршнева как раз в том, что она заставляет пересмотреть накопившийся в палеоантропологии и палеоархеологии фактический и теоретический «багаж» с точки зрения его методологической и логической цельности, соответствия его марксистско-ленинской философской науке, основными положениями которой мы часто «клянемся» при решении конкретных проблем, не давая себе труда до конца вникнуть в ход мыслей основоположников марксизма-ленинизма и понять связи явлений и закономерности развития так, как требует от нас диалектический и исторический материализм.

Можно критиковать книгу и с других позиций — насколько этому ее основному содержанию, этой основной задаче соответствуют отдель-

ные конкретные положения, высказанные на ее страницах, где допущены ошибки и просчеты, где недостоверен фактический материал и т. д. Именно по этому пути мы стремились идти в настоящей рецензии.

Эта книга — странная книга, но очень нужная, особенно сейчас. Странность — здесь не упрек; недаром в современной физике слово «странный» употребляется в терминологическом значении. Она рано или поздно должна была появиться. К сожалению, она появилась позднее, чем могла бы. Но так или иначе. Б. Ф. Поршнев взял на себя неблагодарную, но необходимую задачу — взглянуть на генезис истории оком не узкого специалиста, а ученого, для которого та или иная трактовка отдельных вопросов предистории человека и человеческого общества есть лишь часть философской концепции Человека.

Э. А. Королева

ТАНЕЦ ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЕ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

**(ПО РАБОТАМ ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ
XX ВЕКА)**

Танец до настоящего времени недостаточно изучен. В числе нерешенных вопросов — его определение и установление области исследования. Еще не выявлена система научных понятий, не разработаны и четкие методы анализа. В связи с этим вызывают интерес немногочисленные еще капитальные исследования, посвященные хореографии.

Мы остановимся лишь на некоторых трудах западноевропейских и американских ученых, на наш взгляд, наиболее ярко отразивших особенности зарубежных теорий XX в. При этом проанализируем только, как связаны в этих работах дефиниция танца, теория его происхождения и методы анализа.

Известный английский физиолог и исследователь искусства Х. Эллис определяет танец как «явление, в котором все подчинено строгим правилам исчисления, метра и порядка, строгому следованию общим законам формы и четкого соподчинения части целому»¹. По мнению ученого, «эти черты свойственны не только идеальному духовному началу жизни, но еще в большей степени самой Вселенной». «Мы совершенно правы, — говорит он, — когда рассматриваем не только жизнь, но и всю Вселенную как танец»². Таким образом, согласно определению Х. Эллиса, танец — эта жизнь, Вселенная.

Исследователь строит теорию танца, исходя из приведенной дефиниции. «Значение танца в широком смысле слова — говорится в книге Х. Эллиса, — в том, что это внутреннее и совершенно определенное проявление общего ритма, того самого общего ритма, которому подчиняется не только жизнь, но и вся Вселенная, если, конечно, можно позволить себе так именовать сумму тех космических влияний, которые доходят до нас из Вселенной»³. Совершенно очевидно, что эта теория смыкается с философией мирового духа Гегеля.

¹ H. Ellis, The dance of life, N. Y., 1929, p. XI.

² Там же, стр. XI.

³ Там же, стр. 35.